



М. ДОБУЖИНСКИЙ

Вячеслав Иванов и «Башня»

С осени 1906 г. я начал преподавать вместе с Бакстом¹ в частной художественной мастерской («Школа Бакста и Добужинского»), которая была основана Е. Н. Званцевой, бывшей ученицей Репина². Школа тогда помещалась на углу Таврической и Тверской улиц, против Таврического сада, как раз под квартирой Вячеслава Иванова, которая была на самом верхнем этаже этого большого дома с угловой башней-фонарем. Башня и стала знаменитым названием собраний у Вяч. Иванова, его сред — нового литературного центра Петербурга³.

Приезжая два раза в неделю в школу, я очень скоро через Званцеву познакомился с «верхними» жильцами и не пропускал случая заходить к ним и очень скоро сблизился с Вячеславом Ивановичем и его женой, всегда чем-то горевшей, Лидией Дмитриевной. С ними жила дочь ее от первого брака, Вера Шварсалон⁴, девушка с ангельски-голубыми глазами и золотой косой вокруг головы.

Званцева была своим человеком у Ивановых и была близка ко всему их кругу, а Волошин, один из ближайших друзей Вяч. Иванова, даже и поселился в квартире Званцевой и женат был на учившейся в нашей школе Маргарите Сабашниковой⁵. Все это как-то домашним образом сближало школу с Башней, и школа не могла стоять в стороне от того, что творилось «над ней». Некоторые ученики, по примеру Бакста и моему, бывали тоже посетителями гостеприимной Башни. Сама же школа под Башней становилась не только школой, а маленьким «очагом», как бы содружеством, где в исключительной атмосфере зрело немало будущих художников.

Я хочу вспомнить тут одну мою необыкновенно талантливую ученицу, Елену Гуро⁶, маленькое, болезненное, некрасивое существо (она умерла очень скоро), которая была очень тонким и очаровательным поэтом. Она успела напечатать только одну маленькую книжку стихов, ею самой прелестно иллюстрированную и посвященную ее сыну, который существовал лишь в ее воображении⁷...

Вячеслав Иванов приехал тогда из Италии, прожив в Риме и отчасти в Афинах почти всю жизнь**, и был великим знатоком античного мира и уже давно сложившимся поэтом.

Как собеседник он обладал совершенно особенным обаянием, и хотя я не забывал, что передо мной ученый-философ и глубокий поэт, но это не пугало — так он был внимателен, даже к такому профану, как я, и так порой весело-умны были его реплики, и так заманчиво и интересно он заводил разные тонкие споры. Льстило и то, что он показывал особенно бережное уважение к художнику как обладателю какой-то своей тайны, суждения которого ценны и значительны. Его собственные проникновенные мысли об искусстве бывали мне очень интересны. Впоследствии он с необыкновенным прозрением высказался на тему о синтезе искусства по поводу творчества Чюрлёниса⁸.

Мне казалось, что от него веяло какой-то чистотой, чем-то надземным. Кто-то написал о нем: «Солнечный старец с душой ребенка» (ему тогда было, впрочем, лет сорок), а Блок в одном из своих писем сказал: «Он уже совсем перестает быть человеком и начинает походить на ангела, до такой степени все понимает и сияет большой внутренней и светлой силой». Это показывает, как всем хотелось идеализировать этого замечательного человека. Он же был столь «горним», что мог себя считать выше морали...

Вяч [еслав] Иванов тогда носил золотую бородку и золотую гриву волос, всегда был в черном сюртуке с черным галстуком, завязанным бантом. У него были маленькие, очень пристальные глаза, смотревшие сквозь пенсне, которое он постоянно поправлял, и охотно появлявшаяся улыбка на розовом лоснящемся лице. Его довольно высокий голос и всегда легкий пафос подходили ко всему облику Поэта. Он был высок и худ и как-то устремлен вперед и еще имел привычку в разговоре подыматься на цыпочки.

* «Я учился древности у Моммзена, Рима и Афин», — сказано им в автобиографии (Прим. М. Добужинского).

Я раз нарисовал его в этой позе «стартирующим» к звездам с края Башни, с маленькими крылышками на каблуках, но эту не очень злую карикатуру⁹ я показал только своему другу Сюннербергу¹⁰, все-таки боясь, что Вяч. Ив [анов] обидится...

В Башне, на еженедельных средах, которые я одно время почти не пропускал, я встречал всех тогда и уже знаменитых, и еще начинавших молодых поэтов — Александра Блока, только что окончившего Санкт-Петербургский университет; приехавшего из Москвы Андрея Белого; загадочного Кузмина, впервые тогда появившегося в Петербурге; встречался с имевшим тогда облик древнего старца Федором Сологубом, и с лохматым маленьким Ремизовым, и другими. Завсегдатаями Башни были и зевсо-подобный Волошин, и Георгий Чулков.

Гости на средах оставались иногда до раннего утра. Лидия Дмитриевна, любившая хитоны и пеплумы, красные и белые, предпочитала диванам и креслам ковры, на которых среди подушек многие группировались и возлежали. Помню, так было при приезде Брюсова, который, сидя на ковре в наполеоновской позе, читал свои зловещие стихи, и свет был притушен. Но до «кадильниц» и тем более до каких-то «оргий», о чем ходили слухи, в Башне, разумеется, не доходило. К этому «театру» мы (а из художников бывали Сомов, Бакст, Лансере и наши общие друзья Нувель¹¹ и Гржебин¹²) относились очень не всерьез, но с любопытством. Очевидно, ко всему по-философски равнодушно относился и сам хозяин.

Обыкновенно в Башне читались самые свежие, еще не напечатанные стихи, и, разумеется, читались, как было принято тогда, торжественно и нараспев; это стиль, кажется, пошел от Андрея Белого, у которого такая декламация была своего рода пением (но он как-то внезапно вдруг утратил эту способность), и это делалось общим увлечением; читать иначе, реалистически, «с выражением», казалось неприличным и пошлым. (Профаны же, помнится, тогда называли эту модную монотонную декламацию «акафистом» или «панихидой»).

Собрания проходили по-семейному, за чаепитием, многие бывали с женами. После же чая кроме стихов часто читались доклады на одну из животрепещущих символических тем, и тогда возникали нередко весьма горячие прения. Больше всего горячился Чулков — после Бориса Пронина (зачинателя «Бродячей собаки» и «Привала комедиантов») ¹³ и Н. Н. Евреинова самый неистовый энтузиаст, каких я знал¹⁴. По внешности он тогда походил на моло-

дого апостола или Предтечу с бородой и большой шевелюрой, что было весьма в стиле его несколько театрального пафоса. Ни один доклад не проходил без его участия в прениях — тут он бывал порой блестящим или оппонентом, или апологетом. Помню, как он неистовствовал, вещая на тему «Демоны и художники»! Чулков носился тогда с идеей «мистического анархизма»¹⁵, системы, кажется, и для него самого довольно туманной, но в самом названии содержалось уже нечто многообещающее, магическое и заинтриговывающее.

Заинтересовало оно... и градоначальство. И однажды, кажется в конце 1906 года, когда в Башне было одно из самых многолюдных собраний и был в самом разгаре «чай», внезапно раскрылись двери передней (как раз против самовара), и театральнойшим образом, как настоящий «*deus ex machina*»**, появился полицейский офицер с целым отрядом городских¹⁶. Всем велено было остаться на своих местах, и немедленно у всех дверей поставлены были часовые. Забавно, что никакого переполоха не произошло и чаепитие продолжалось как ни в чем не бывало. Однако по очереди все должны были удаляться в одну из комнат, где после краткого допроса, к всеобщему уже возмущению, началась чрезвычайно оскорбительная операция личного обыска. Сначала допрашиваемые старались шутить и дерзить, но, когда руки городских стали шарить в карманах, сделалось уже не до шуток.

Процедура эта тянулась до самого утра, и обысканные с негодованием обсуждали, как же реагировать. Среди «пострадавших» присутствовала мать Максимилиана Волошина¹⁷, только что приехавшая из Парижа, дама почтенного возраста, молчаливая и безобидная, но внешности весьма для полиции оскорбительной: стриженная, что было по тем временам еще очень либеральным, и, пуще того, ходившая, что, впрочем, и нас, и весь Петербург удивляло, в широких и коротких шароварах, какие когда-то носили велосипедистки. Она-то и стала искупительной жертвой за всех нас. Полицейский офицер решил, что она и есть самый главный и опасный «мистический анархист», и забрал ее, уже совершенно растерявшуюся и расплакавшуюся, в градоначальство. Пробыла она, впрочем, там недолго, так как утром кто-то полетел к Трепову¹⁸, сумел пристыдить начальство, и ее утром же освободили. Всех же остальных на заре, по окончании обыска, отпустили с миром. Отобранные документы мы все получили

* * Бог из машины (*лат.*)

обратно из градоначальства, и никаких последствий ни для кого это глупое происшествие не имело.

Но кончилось оно еще одним анекдотом. Д. С. Мережковский при разезде после обыска в Башне не нашел своей бобровой шапки: «утащили мерзавцы», и сейчас же напечатал в «Руле» язвительное открытое письмо министру внутренних дел: «Ваше Превосходительство, где моя шапка?» Но произошел большой конфуз: шапка на другой день нашлась застрявшей за каким-то сундуком в передней...

У Вячеслава Иванова я бывал и по поводу затеянного им его собственного издательства «Оры». Он торжественно нарек меня почетным именем «художника “Ор”», и я сделал несколько обложек для крошечных книжек этого издательства, удовлетворив Вячеслава Иванова моими символическими рисунками. (Эти книжки были: антология «Цветник “Ор”», «Трагический зверинец» и «33 уroda» Лидии Дмитриевны, писавшей под именем Зиновьевой-Аннибал, и «По звездам» Вячеслава Иванова).

Помню и почти экспромтный спектакль, затеянный в Башне Мейерхольдом и Судейкиным, — «Поклонение Кресту» Кальдерона; пьеса эта была поставлена в ширмах, очень изысканно и поэтично.

Лидия Дмитриевна, нами искренно любимая, неожиданно скончалась от дифтерита летом 1909 года, и Башня кончилась¹⁹. Вячеслав Иванов вскоре переехал в Москву. Позже он женился на своей падчерице Вере Шварсалон, и это было большой сенсацией...

С отъездом Вячеслава Иванова в Москву наши отношения оборвались — подобные чисто внешние причины, увы, не раз в моей жизни кончали даже и близкую дружбу. В Москве я видел его лишь мельком в первые годы после революции (он полысел и носил черную ермолку), слышал затем о внезапном и парадоксальном, но, несомненно, искреннем энтузиазме, который неожиданно для всех возник у этого человека не от мира сего к Великому Эксперименту²⁰, узнал о смерти бедной Веры (от голода, как утверждали) и затем об отъезде Вячеслава Иванова в Италию уже безвозвратно. Там он перешел в католичество, так же, несомненно, со всей искренностью своего пафоса... То же, что он поселился в Риме на Тарпейской скале, не удивляло, а скорее, радовало — как некий законченный штрих в образе Поэта.

1945

